**Андрей РАСТОРГУЕВ**

# ВОЗРОЖДЕНИЕ НЕЖНОСТИ

Хоть и жили мы с ним довольно долго в одном небольшом городе – Сыктывкаре, видел я его редко. И, похоже, ещё реже – трезвым. Стихи он читал отвратительно – во всяком случае, в тот единственный раз в Коми пединституте, когда я слышал его: извлёк из кармана пару смятых бумажек, разгладил и не прочёл, а, скорее, пробормотал. Что именно, сейчас не вспомню, но помнится ощущение: сначала – раздражение от необходимости напрягать слух, потом – радостное изумление от яркой поэтической находки…

## *Русский из зырян*

Это была лишь одна из тех находок, которые даже не рассыпаны по стихам Виктора Кушманова (1939-2004), но вместе с неповторимой интонацией образуют неразделимую ткань, воспроизводящую неброские, но такие притягательные цвета и запахи северной зырянской Руси. И домотканое суровьё, что перемежает в этой ткани нежный травяной и лиственный шёлк – от того же Севера да неровной кушмановской жизни…

*Дали мне чашу испить,*
*Испытать благодать.*
*В доме полы помыть,*
*Рубашки прополоскать.*

*Дали пять книг написать.*
*Дали в траве полежать.*
*Дали воды из ковша,*
*Той, что просила душа.*

*Дали спеть с другом про степь*
*И на коне проскакать.*
*Даже сковали цепь,*
*Чтоб к родине приковать.*

*Умыли лицо росой,*
*Ноги речной волной.*
*Дали волком повыть*
*По женщине золотой.*

Книг у него в итоге вышло почти втрое больше. Про женщин не знаю – воспоминания, которые у нас выходят обычно по круглым датам и пополняют собрания соответствующих апокрифов, ещё не накопились, а сами стихи пищи для пересудов об интимностях дают немного. Впрочем, это он наверняка о своей матери так, к судьбе которой возвращался снова и снова: «*…ей было только двадцать восемь.// Сто раз могилу прятал снег// И тридцать раз скрывала осень…*».

Да, совсем молодая… – можно сказать с сочувствием и легким страхом от того, что иногда вытворяет жизнь. Если не знать, что привезли ее, донскую казачку, жену белогвардейского офицера, на Север в телячьем вагоне уже с двумя детьми, которые вскоре умерли. И что второго мужа, коми учителя Виталия Кушманова, от которого она родила ещё троих, раскулачили.

О дальнейшем один из немногих посвященных ему газетных некрологов говорит глухо – «ушла из жизни». Если произошло именно то, что чаще всего скрывается за этими словами – куда понятнее и пронзительнее не просто сыновний, а христианский призыв в маленькой поэме «Молитва о спасении»: «*Люди..,// спасите маму мою!// Разройте её в сугробах// Тридцать девятого года.// Найдите её в болотах,// В гиблых желтеющих водах…*».

Себя тогдашнего он, понятно, не помнил. Но очень живо представлял: «*…Мать хоронить везли на санках.// На нарах у окна без штор// Ты спал, завернутый в портянки –// Сын спецпоселка Ниашор…*». И, так вот отстранённо размышляя о себе самом, выводил из этого сна свою судьбу: «*Чужую маму звал ты мамой.// Женился на чужой жене,// Её ребёнка звал ты сыном.// И о своей родной стране// ты говорил, как о чужбине…// И жил на свете долго-долго,// Как осуждённый срок тянул…*». И обречённо признавал: «*Тебе навек твоя отчизна// Тот спецпосёлок Ниашор…*».

Спешно возведённый, этот посёлок столь же быстро почти без следа канул в Лету. А его сын вновь возвращается к нему – и мыслью, и наяву: «*Поселок вымер. Всё ушло во мрак.// Один полуразрушенный барак// Стоит в пустынном поле для бродяг…*». А именно туда манят и «молчанье птиц печальных», и «колея дорог, пропахших иван-чаем», и

«брусничная ботва, затоптанная зверем», и мелкий «серебряный и тихий» дождь… И именно городская малосемейка представляется тюрьмой, а «*…это всё, хоть осени крестом, –// Моё Отечество. Мой отчий дом…*».

Странная любовь к отчизне – родовая мета всей по-настоящему русской, российской поэзии. И сказать о себе – «*…быть страны прекрасной сыном// ты навсегда приговорён…*» – с горечью могут многие отечественные стихотворцы. И посетовать, что «*…Россия – громадная страна –// никак не влезет в собственные тюрьмы…*», могут тоже. Но о такой любви к именно Коми краю («*…древний мой, тюремный край…// край печальный и родимый…*») «русский из зырян» Кушманов благодаря своей судьбе написал первым и, может быть, последним: «*Как волку не отвыкнуть выть,// Пейзаж по-северному серый// Тебе вовек не разлюбить…*».

## *Кони в яблоках*

Рождённый, с шести лет росший в детдоме и проживший в этом крае до самого своего конца, он сросся и с зырянской деревней Пыёлдино, где жила его коми бабушка и где «*…даже овца// мордой похожа на мудреца…*». И потому в ответ на стандартные советские лозунги был вправе упрекнуть вышедших из её «*пропахших черёмухою дворов// …сорок кандидатов наук,// Членкоров и даже профессоров*» в том, что «*…Выпили соки из деревеньки,// Теперь в деревеньке – ни парня, ни девки…*».

И всё-таки отнюдь не упрёки, для которых Кушманов, казалось бы, имел основания, составили основу его поэтического чувства. Сирота, знавший, что жизнь могла и может прерваться в любой момент, он, похоже, воспринимал каждый миг как дар свыше. И тогда не только мать, но и каждая частичка жизни оказывалась драгоценной.

И прояснялось, что «*золотая рыжая девушка// По названью – моя страна// Осветила высокое небо// И лесные озера до дна…*». И что поэт – «*навеки… каторжанин// …горькой и светлой любви*» этой милой и ненаглядной страны, чьи свет и вечная мгла полны странною силой. И на неё, что губила и любила, все его надежды. Тем более, если по его молитве донскую казачку Анюту всё-таки удастся отыскать, и её отпустят домой, и поднимется сильное солнце – «*и снова начнётся Россия,// обняв позабытую дочь…*»

*Золотое детство,*

*Юность золотая,*
*Отшумевших песен*
*Золотая стая.*
*Отозрело в дреме*
*Золото колосьев.*
*Подокралась к дому*
*Золотая осень.*
*На душе – не дождик,*
*А светло и тихо,*
*Словно я закончил*
*Золотую книгу.*
*Но не все на свете*
*Отгорело в медь…*
*Пусть еще потерпит*
*Золотая смерть.*

Сознательно подражал иногда Кушманов Есенину или эти мотивы родились из созвучия душ, теперь уже не спросишь. Во всяком случае, собаки у него точно свои: «*Рождённый и воспитанный в бараке,// Я помню, звёзды// Навещали нас,// Как добрые, бродячие// Собаки…*». И Полярная звезда тоже оказывается собачонком, просящимся на руки – как в другом стихотворении щенок, что всю ночь скулил под дверью, а к утру «*стал таким, каким хотели.// Он в эту ночь собакой стал…*» Это уже наверняка из детдомовского детства, хотя и оно вдруг отзывается яблочным запахом снега и воспоминанием о том, как само это слово – «яблоко» – долгое время ассоциировалось с конями. Ну, не завозили тогда в глубь северной тайги эти плоды, а сочетание «кони в яблоках» в книгах встречалось…

А в 90-е рождается перекличка с Буниным:

*Нет камина и нету вина.*
*Что с ней стало, не знает страна.*
*Нет червонца, чтоб нищей подать,*
*Хорошо бы собаку продать.*

Есть у Кушманова и другие прямые зарисовки того, по его же слову, глухого времени, где «*…На всю страну программа «Время»// Страдает, мучается, врёт…*» и рэкетир гуляет в ресторане подобно

недавнему парткому. «*Мой северный, нежный, заплаканный град,// Где чистый твой дождь и густой снегопад?..*» – сетует поэт. Однако итожит: «*…всё же неплохо – сменилась эпоха!..*»

Разруха этой эпохи была тяжела, но, возможно, всё-таки не могла сравниться с испытаниями детства: «*…Вот какой обцелованы силой.// Вот откуда мы – дети войны…// Ничего. И такая Россия –// Наши сладкие грезы и сны…*».

Судя по его стихам, и в 50-е годы на лесоповале, где «*вместе с комарами,// С веселым матом, грустными глазами// Брела в бараки родина моя…*», и на лесосплаве иных рабочих, оказывается, интересовали не только водка и бабы: «*…Мы говорили громко о стихах,// как говорят незрячие о звёздах…*». Так что четыре десятка лет спустя все суетливые приметы преходящего времени вновь отступали перед Родиной, которая «то ветром…, то дождём косым», что ни день, вспоминала своего последнего сына – единственного наследника «*поля, рощи и травы,// И одинокой в небе синевы...*», и снегопада. А сын, которому, кроме всего этого, ничего и не надо, винился перед срубленным деревом, перед разлюбленной женщиной, перед двумя своими жёнами – «*И, конечно, виноват// Перед страной родною…*».

*…Хожу меж этими*
*И между теми,*
*Не умоляя и не моля.*
*Всю жизнь цепляюсь*
*За эту землю –*
*Всё же родная моя земля.*

Эту землю за то, что в ней лежит не вернувшийся с войны муж, целует в одном из стихотворений солдатская вдова. Эта земля в жизни въедалась поэту в ладони и под ногти, когда он – дважды в жизни – работал землекопом на стройке. Эта земля, к которой он «прилип с рожденья», вправе гнать или обнимать – но её «*как чистую молитву,// Никогда от губ не оторвать…*».

## «…Женщина – лес. Женщина – озеро…»

Второй раз, если верить уже упоминавшимся апокрифам, Кушманов взялся за лопату из-за женщины. Работая в отделе

пропаганды и агитации республиканской молодёжной газеты, отправился в командировку писать о передовиках производства: «*…Я был рабом двух областных газет.// Писал, что скажут, честно, не для денег…*». Но, заехав в одну из деревень, написал отнюдь не восторженный, а сочувственный материал о девушке, которая с покрытыми шрамами руками и распухшим от мороза лицом изо дня в день по узкой тропке ходит с вёдрами к реке за водой, чтобы напоить три десятка коров…

Сочувствие обернулось обвинениями в крамоле и увольнением – к счастью, шёл уже 1964-й. А в стихах о женщинах и о любви к ним – осталось и, углубляясь, обратилось нежностью.

*Что называется нежностью –*
*Степь или лес, или сон?*
*Вы целовали женщину,*
*Промокшую под дождем?*
*Что называется нежностью –*
*Поле, июль, иван-чай*
*Или на стуле забытая*
*Печальная мамина шаль?..*
*Что называется нежностью –*
*Ветер на подоконнике?*
*Может, в вечернем тумане,*
*Как боги, бредущие кони?..*
*Как жалко, что нежность нельзя*
*Выучить наизусть…*

Благодаря лесному ветру, что дал ему песню «на радость и погибель» и, как дерево, одел его листвой, поэт видит эту нежность плывущей в воде женщиной. А женщина, выходящая из воды, «*От солнца золотиста и прекрасна.// Ее ласкают травы, ивняки,// Она так хороша, что даже страшно…*».

Видя женщину, чьё утро только начинается «и что готовит ей день – неизвестно», поэт молит: «Дай ей бог хоть немного блаженства…». Ведь Бог опять же «*…с нежностью и болью,// С сияньем синих глаз,// С щемящею любовью// Глядит из тьмы на нас…*». Хотя и «*не понимает,// откуда мы? Зачем?// …Он выше всяких судей,// Но вот одна беда:// Он на земле, где люди// Не будут никогда…*».

Плачущей синеглазой женщиной предстаёт река Сысола. Простое имя любимой поэт проносит на поцелуе, отыскивает в овраге, *«в диких зарослях черёмух,// в старом брошенном бараке,// на иконах получёрных,// и в бродячей пляске ливня,// и на пятке у ребенка…// На белеющей берёзе…»*. И снова отголосок тревоги и почти животной жажды: *«…В тишине глухой по-волчьи// Я твоё провою имя…»*. Ведь поэта *«...буквально трясёт от желанья// к единственной женщине русой,// в сандальях на босу ногу,// пропахшей цветами насквозь…»*.

Но есть и *«…желание заплакать,// если нежно глянешь ты…»*. И ревнивое предостережение тому же ветру, уже весеннему: *«…не хмелей,// когда ты волосы целуешь// у скромной женщины моей…»*. И преклонение перед деревенской дурнушкой в сапогах и телогрейке: *«Боже мой, и откуда в ней сила,// Чтобы жить. Подпирать небосвод.// Но живёт. Ещё кормит Россию.// Иногда даже песни поёт…»*.

Явно ощущая избыток жёсткости и жестокости в окружающем мире, поэт словно стремится залить его волной нежности, рождённой им самим. Весь мир – лес, озеро, снова река в солнечном блеске, небо, звёзды, снег, дождь, медовый запах, слёзы и радость – оборачивается женщиной:

*…Женщина – жизнь. Женщина – Родина,*
*С зеленью ласковых ивовых кос.*
*Голос её: – Где ты, мой родненький? –*
*Всё ещё слышит распятый Христос.*

И с «рыжей, перезревшей в девках» поэт говорит о рыбах, живущих в речной глубине, и о том, как лось признаётся в любви лосихе. И летом, «облепленный птицами, праздничный весь», чувствующий себя юным и сильным, предлагает другой: *«…Живи ты в траве все лето// и спи на моей руке…»*. А на его исходе восклицает: *«..Ах, какая осень, боже,// как любовь моя…»*.

## *«И пальцы тонкие её…»*

Когда идут тёплые дожди, *«Собирает нектар свой пчела,// Пот на борозду пахарь роняет…//»*, жизнь светлеет и *«Если ранит, то светом лишь ранит…»*. Хотя, говорят, сам Кушманов ранил, бывало, и словом, и делом. С одной стороны, трудно ожидать, что детдомовец может оказаться облаком в штанах. С другой – и впрямь *«Очень быть трудно*

*поэтом// Там, где народ молчалив…»* и где по земле идут какие угодно люди – сытые, глупые, умные и трижды злобные, а добрые «невидимо прячутся» в деревьях или в траве.

Вот, может быть, и он прятался, беззащитно открываясь только в стихах. И, благодаря жизнь за то, что была «умней прокурора и добрее Кремля», удивлялся: *«Чем горе страшнее,// Тем сердцу больней…// А Родина, странно,// всё милей и милей…»*. И сквозь рваные одежды этой жизни, смеющейся *«сквозь лицемерье и рваньё// …целовал, что мне осталось,// её угрюмость и усталость,// и горечь сладкую и радость,// и пальцы тонкие её…»*. И подсказывал девушке – может быть, той же рыжей, а то и самой стране: *«Не горюй и не плачь, потерпи,// Лучше новое платье купи…// Засияй вся от пят до лица,// Пусть не будет на свете конца// Невезеньям проклятой любви –// Погорюй и поплачь. Поживи…»*.

По его стихотворным словам, записанным «в цветных зелёных травяных тетрадях», он и сам всё время слышал мамино: «А ты терпи, сынок…». И сам над холодной, пропахшей цветами водой и под дальней звездой над чистыми лесами, внимая стеклянному звону осин, перед озябшей рябиной и печальной ситцевой и сатиновой синью озёр говорил себе: *«Но это грусть твоя и родина, Кушманов…// Под свой неслышный вой целуй траву и листья.// И снова, дорогой, живи. Светло. И чисто.// Живи, когда в душе и путано, и сложно.// Живи, когда уже и жить-то невозможно…»*.

И заклинал остающихся: *«…Жизнь коротка, жизнь коротка, жизнь коротка,// Жизнь коротка. Любовь ещё короче…»*. И снова троекратно: *«…жизнь коротка.// Но этого никто не понимает…»*.

2007 г.